

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЁК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“

1949

СОДЕРЖАНИЕ

Повести и рассказы

Вешние воды	5
Стук... стук... стук... :	117
Пунин и Бабурин	141
Часы	188
Сон	225
Рассказ отца Алексея	241
Отрывки из воспоминаний своих и чужих:	
1. Старые портреты	251
2. Отчаянный	268
Песнь торжествующей любви	286
После смерти (Клара Милич)	303
Конец	347
Примечания	359

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЕК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Т О М

8



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Москва. 1949

**ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ**

ВЕШНИЕ ВОДЫ

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!

Из старинного романа.

...Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, — и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пошлады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно-возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется

жизнь! — А то, пожалуй, перед концом, пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море; нет: — он воображал себе это море невозмутимо-гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит: и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно-явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он потрянул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал; он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же — и весь измененный годами.

Он встал — и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» думалось ему — и вспомнил он многое, давно прошедшее.

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

Дело было летом 1840 года. Санину минул двадцать второй год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него невыносимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; г-да туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»; но дилижанс отходил только в одиннадцатом часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная — и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого Лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного Вертера — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поспрашивал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запяленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами — в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками на высоком плетеном стуле возле окна, — и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял — и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему — и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, — мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно, ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных, густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

— Он умер, он умер! — вскричала она: — сейчас он тут сидел, говорил со мною — и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски: — Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу, — раздался хриплый голос за дверью, — и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темносерой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, — продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками: — а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину. — О мой господин, о mein Herr! — Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить — это удар, — заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар, — проговорил он, обратясь к Панталеоне. — Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки, — повторил Санин по-немецки и по-французски. — Щетки, — прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzettel! как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Вепоне! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина — как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер, — а сам искоса поглядывал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь; волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти — и особенно глаза, темные, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торже-

ствующие глаза, — и даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекала его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кричал, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мере, с него сапоги, — хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы — и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia!¹ — зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

— Эмиль! — крикнула девушка. — Эмилио mio!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — послышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила она. — Я возвращаюсь... и вдруг встречаю г-на доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя — и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

¹ [Тарталья-каналья!]

— Вы, я вижу, его растирали щетками,— обратился доктор к Санину и Панталеоне: — и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства...— Он пощупал у молодого человека пульс.— Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улынулся, взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите, — начала она, ласково заглядывая ему в лицо: — я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером: мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата — мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин,— заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете, — с живостью возразила девушка. — Придите к нам через час на чашку шоколаду. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

— Приду, — отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон -- и он очутился на улице.

IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие обья-

тия — и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот попрежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский — обе дамы немного удивились и даже ахнули, и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык — так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин? Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий», также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу, «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила большая мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее — Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!» как со вздохом заметила г-жа Розелли — не вполне умел уловлять сходство — ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потому она прибавила, грустно покачив головою, что у ней только и осталось, что вот эта дочь да вот этот сын (она указала на них поочередно пальцем); — что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилем; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» ввернула тут дочь; «ох, ты тоже республиканка!» ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uomo!» с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец, она встала, обняла и поцеловала мать в шею — в «душку», отчего та много смеялась и даже плакала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для барионных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долгое пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччебубио!»¹ обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве — ибо был родом из Синигаллы, где слышится «*lingua toscana in bocca romana*!»². Эмилио, видимо, нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избежал опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санину, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфеты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколаду и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотил один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике — и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространный и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: *Bellezze delle arti*?³ — А в ответ на восклицание Санина: «неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные, но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь рус-

¹ {«Проклятый плут!»}

² {«тосканский язык в римских устах!»}

³ {«Красоты искусства?»}

скую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой,— спел, тоненьким носовым тенорком, сперва: «Сарафан»,— потом: «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно: «По улице мостовой» (*sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau* — он так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел Пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «о, *viene*»¹ — «со мной» — «*siam poi*»² — и т. п. Даже имена: Пушкин (она говаривала: Пуссекин) — и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин, в свою очередь, попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

VI

Но не голосом Джеммы — ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, — не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотах, возводила кверху глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстук, слушал важно, с видом знатока — даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему, а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэтино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он, действительно, говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), — и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя,

¹ [«О, приходи»]

² [«Это мы»]

тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя — да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатола из Варёзе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbuski», — с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта — il paese del Dante! — Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вдохнул глубоко раза два, потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

— Вот был человек! — воскликнул он. — Никогда великий Гарсиа — «il gran Garcia» — не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки — tenoracci — фальцетом: все грудью, грудью, voce di petto, sì!¹ Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! И какой актер! Вулкан, signori miei², вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro³ Россини — в Отелло! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...

Тут Панталеоне стал в позу и запел дрожащим и сильным, но все еще патетическим голосом:

L'i... ra davver... so davver... so il fato
Io più no... no... no non temerò!⁴

— Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i... ra davver... so davver... so il fato
Temèr più non dovro!⁵

— И вдруг он — как молния, как тигр: Morro!.. ma vendicato...⁶

— Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из «Matrimonio segreto»: Pria che spunti...⁷ Тут

¹ [голос грудной, да!]

² [господа мои,]

³ [многоуважаемого мастера]

⁴ [Гнева... судьбы... Я больше не буду бояться!]

⁵ [Гнева... судьбы... Бояться я больше не должен!]

⁶ [Умру!.. но отомщенный...]

⁷ [«Тайного брака»: Прежде чем взойдет...]